



Вячеслав Михеев

Нейтральный окрас

Вячеслав Михеев

Нейтральный окрас

«Автор»

2026

Михеев В.

Нейтральный окрас / В. Михеев — «Автор», 2026

После клинической смерти следователь Алексей Горелов обретает проклятый дар — видеть ангелов и демонов, ведущих незримую битву за души людей. Его собственная душа оказывается ключом к финалу тысячелетнего противостояния: он — последняя инкарнация легендарного Лота, чей выбор определит судьбу мира. Чтобы спасти невинного ребёнка, Горелов заключает сделку с демоном Демьяном, теряет Хранителя и выигрывает смертельную шахматную партию у демона Морока. Но настоящая игра только начинается: его напарник Костя, сжигаемый завистью, стоит на грани слома седьмой печати, а таинственная Веста, хранительница равновесия, предлагает иной путь. Когда Часы пробьют семь раз и в небе откроются Врата в иные миры, Горелов должен будет войти — чтобы вернуть душу или навсегда остаться пустотой.

© Михеев В., 2026

© Автор, 2026

Вячеслав Михеев

Нейтральный окрас

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОКРАС

Глава 1. Цвет мёртвой женщины

Горелов не любил утренние вызовы.

Не потому, что не выспался — он вообще мало спал в последние годы, и три часа на подушке стали нормой, как три ложки сахара в кофе или две сигареты подряд на пустой желудок. Не потому, что болела голова — она болела всегда, тупо и привычно, как ноет старая пломба на холод. И не потому, что за окном ноябрь, а ноябрь в этом городе означал: серое небо, серый асфальт, серые лица прохожих, серая вода в реке, серая тоска, которая заползает под кожу и остаётся там до марта.

Он не любил утренние вызовы, потому что утром люди ещё *настоящие*. Не успели надеть маски. Не успели спрятаться за деловитость, за суету, за «я-в-порядке-просто-устал». Утром, в шесть-семь часов, когда диспетчер бросает в трубку адрес и Горелов натягивает куртку, ещё не остывшую от вчерашнего вечера, — в это время город голый. И люди в нём голые. И их *окрас* виден так отчётливо, что хочется закрыть глаза.

Окрас.

Горелов не знал, как назвать это иначе. Слово «аура» было слишком эзотерическим, слишком из тех книжек в мягких обложках, которые продают на вокзалах рядом с кроссвордами. «Энергетика» — слишком вульгарно. «Душа» — слишком громко. Окрас — в самый раз. Нейтральное слово для ненейтрального явления.

Он видел его с детства. Не всегда. Не у всех. Но достаточно часто, чтобы перестать считать себя сумасшедшим, и достаточно редко, чтобы не привыкнуть. Окрас был у каждого человека — тонкая, едва уловимая плёнка цвета, которая обволакивала тело, как второе дыхание. У кого-то она была густой, насыщенной, почти осязаемой. У кого-то — блёклой, прозрачной, как выстиранная ткань. А у кого-то — и это было самым страшным — её не было вовсе.

Но об этом потом.

Сейчас Горелов сидел в патрульной машине, на пассажирском сиденье, и смотрел, как за окном проплывает город. За рулём — Костя. Напарник. Друг. Человек, с которым Горелов делил кабинет, обеденный стол и молчание — то особенное, мужское молчание, которое дороже любых разговоров. Костя вёл машину уверенно, чуть агрессивно, подрезая на поворотах, и насвистывал что-то бессмысленное. Его окрас Горелов видел боковым зрением: тёплый, янтарный, с лёгкой примесью охры. Хороший окрас. Честный. Немного потёртый по краям, как старая кожаная куртка, но в целом — светлый. Костя был хорошим человеком. Не святым. Не ангелом. Но хорошим.

И рядом с ним, чуть позади левого плеча, висел *белый*.

Горелов никогда не называл их ангелами вслух. Только про себя. И только в те редкие моменты, когда позволял себе думать о вещах, которые не вписывались в протокол. Белые и чёрные. Они были у каждого. Не один — обычно два, три, иногда больше. Маленькие, полупрозрачные, размером с ладонь. Они кружили вокруг человека, как мотыльки вокруг лампы, и *тянули*. Каждый в свою сторону. Белый тянул к свету — к состраданию, к терпению, к тому тихому, незаметному выбору, который человек делает, когда никто не смотрит. Чёрный тянул к тьме — к злобе, к зависти, к тому сладкому, ядовитому желанию, которое шепчет: «А почему не ты? А почему ему, а не тебе?»

И человек, сам того не зная, *выбирал*. Каждый день. Каждый час. Каждый раз, когда уступал место в автобусе или не уступал. Когда прощал или запоминал обиду. Когда говорил правду или удобную ложь. И с каждым выбором окрас менялся. Медленно. Почти незаметно. Как ржавеет железо. Как выгорает ткань на солнце. Как стареет лицо.

Горелов видел это. Видел, как у молодого парня в метро окрас из нейтрально-серого, детского, начинает темнеть по краям — чёрный у плеча шепчет, шепчет, и парень сжимает кулаки, глядя на чужой дорогой телефон. Видел, как у старушки у подъезда окрас светлеет, становится мягким, кремовым, почти золотым — белый у её плеча мурлычет, и она улыбается коту, который трётся о её ноги. Видел, как у бизнесмена в ресторане окрас густеет, становится тяжёлым, свинцовым, с прожилками багрового — и чёрных вокруг него уже не два, не три, а целая стая, и они не шепчут, а *кричат*.

А ещё Горелов видел, что окрас зависит от пола. Не в смысле «мужчины тёмные, женщины светлые» — нет, это было бы слишком просто и слишком неправда. Но *оттенок* был разным. У мужчин тьма ложилась грубо, фактурно, как мазки мастихином: тёмно-серый, ржавый, болотный, цвета запёкшейся крови. У женщин тьма была тоньше, изящнее, как акварель по мокрому: лиловый, пепельно-розовый, цвет увядшей сирени. И свет у мужчин был сдержанным — охра, тёплый песочный, цвет старого дерева. А у женщин — ярче, чище: медовый, персиковый, цвет первого снега на рассвете.

Горелов не знал, почему. Не знал, зачем ему дано это видеть. Не знал, что с этим делать. Он просто видел. И жил. И старался не думать о том, что его собственный окрас — если посмотреть в зеркало, если прищуриться, если поймать правильный угол света — оставался *нейтральным*. Серым. Ровным. Как в день рождения. Как у младенца, который ещё не сделал ни одного выбора.

Ему было тридцать пять. И он был нейтральным.

Это было неправильно. Это было *невозможно*. За тридцать пять лет человек делает миллионы выборов. Миллионы раз тянется к свету или к тьме. И окрас *должен* меняться. У всех менялся. У Кости — янтарный. У Маркова — тёмно-серый, почти графитовый, но с тёплыми искрами. У Веры из лаборатории — мягкий, медовый, с золотыми прожилками. У всех. Кроме него.

Горелов не говорил об этом никому. Даже Косте. Особенно Косте. Потому что если ты нейтральный, если твой окрас не меняется, — значит, ты не выбираешь. Значит, ты *не живёшь*. Значит, ты — пустое место. Зеркало, в котором отражаются чужие цвета, но своего нет.

Или значит, что ты — что-то другое. Что-то, чему Горелов не знал названия.

Вызов был рядовой.

Диспетчер сказал: «Женщина, сорок два года, не выходит на связь вторые сутки. Соседи жалуются на запах. Адрес: улица Ткачей, дом четырнадцать, квартира шесть». Горелов записал в блокнот, сунул блокнот в карман куртки и сказал Косте: «Поехали». Без эмоций. Без предвкушения. Рутинная. Ещё один день в ещё одном городе, где люди умирают в одиночестве и пахнут так, что соседи вызывают полицию не из беспокойства, а из брезгливости.

Костя вёл. Горелов смотрел в окно. Город проплывал мимо — серый, мокрый, ноябрьский. На остановке стояла женщина с ребёнком. У женщины окрас был тёплый, персиковый, с лёгкой дымкой усталости. У ребёнка — нейтральный, чистый, как родниковая вода. Вокруг ребёнка кружили двое: белый, маленький, пушистый, как одуванчик, и чёрный, тонкий, как паучья лапка. Оба тянули. Оба шептали. Ребёнок пока не слышал. Пока не выбирал. Пока был *никем*.

Горелов отвёл взгляд. Каждый раз, когда он видел ребёнка с нейтральным окрасом, внутри что-то сжималось. Не жалость. Не умиление. Что-то другое. Что-то похожее на зависть. На тоску по тому, чего у него самого, не было. По способности *выбирать*. По способности *меняться*.

— Приехали, — сказал Костя, паркуя машину у обочины.

Дом четырнадцать по улице Ткачей был обычной пятиэтажкой. Кирпичной, обшарпанной, с балконами, застеклёнными кто во что горазд. У подъезда уже стояла «скорая» — формальность, потому что если человек не выходит на связь вторые сутки и пахнет, то «скорая» едет не спасать, а констатировать.

Горелов вышел из машины. Воздух был холодным, влажным, пах прелой листвой и выхлопными газами. Он вдохнул, выдохнул, поправил куртку и пошёл к подъезду. Костя — рядом. Его белый мотылёк порхал у плеча, чёрный паучок сидел неподвижно, выжидая.

В подъезде пахло кошками и старостью. Лифт не работал. Поднялись пешком на третий этаж. Дверь квартиры шесть была приоткрыта — соседи уже вскрыли, не дождавшись полиции. Из щели тянуло тем самым запахом. Сладковатым. Тяжёлым. Запахом, который не спутаешь ни с чем.

Горелов толкнул дверь.

Квартира была маленькой. Однокомнатной. Обставленной скудно, но чисто — или была чистой, пока не начался процесс. На кухне — чашка с засохшим чаем. На подоконнике — горшок с геранью, засохшей до хруста. На стене — фотография: женщина, молодая, смеётся, обнимает мужчину, которого не видно в кадре. На холодильнике — магнит в виде подсолнуха. Обычная жизнь. Обычная смерть.

Тело было в комнате. На диване. Женщина лежала на спине, руки вдоль тела, глаза закрыты. Лицо спокойное. Не искажённое болью, не сведённое судорогой. Просто — спокойное. Как у человека, который лёг спать и не проснулся. На ней был халат. Синий, в мелкий цветочек. Тапочки на ногах. Волосы — седые, короткие — рассыпаны по подушке.

Горелов подошёл. Присел на корточки. Достал блокнот. Записал: *«Ткачей, 14, кв. 6. Женщина, ~62 года. Тело на диване. Видимых повреждений нет. Предварительно: естественная смерть. Ожидать судмедэксперта».*

Рутина.

Он уже собирался встать, когда *увидел*.

Окрас.

У мёртвой женщины был окрас.

Это было неправильно. Горелов знал — *знал* так же твёрдо, как знал, что небо серое, а кофе горький, — что у мёртвых окраса нет. Он исчезает. Растворяется. Уходит вместе с последним выдохом, как пар изо рта на морозе. Тело остаётся. Окрас — нет. Тело — это оболочка. Окрас — это *человек*. А человека здесь больше не было.

Но окрас был.

Он висел над телом — тонкий, едва заметный, как плёнка бензина на луже. И он был *нейтральным*. Серым. Ровным. Как у младенца. Как у Горелова.

Женщина, которой было шестьдесят два года, которая прожила жизнь, которая делала выборы, которая любила и ненавидела, которая смеялась на фотографии и пила чай из чашки с подсолнухом на холодильнике, — была *нейтральной*. Как будто не жила. Как будто не выбирала. Как будто сорок два года её жизни не оставили на ней ни одного следа.

Горелов замер. Присмотрелся. Нет. Не нейтральный. Не совсем. Если прищуриться. Если наклонить голову. Если поймать тот самый угол, под которым видно то, чего не должно быть видно.

На самом краю окраса, у левого плеча, было пятно. Маленькое. Не больше монеты. Тёмное. Не чёрное — *серо-чёрное*. Как синяк, который уже проходит. Как тень, которая осталась после того, как предмет убрали.

И рядом с пятном, на полу, у самого дивана, лежало нечто.

Горелов моргнул. Протёр глаза. Посмотрел снова.

На полу, в луже засохшего чая, который женщина, видимо, пролила перед смертью, лежал *мотылёк*. Белый. Мёртвый. Крылья сложены, тельце скрючено, как у насекомого, которое нашли на подоконнике весной. Мёртвый белый. Мёртвый ангел.

Это было невозможно. Белые и чёрные не умирали. Они были *частью* человека. Они жили, пока жил человек, и исчезали, когда человек умирал. Не умирали. *Исчезали*. Растворялись. Как окрас. Как дыхание. Как тепло.

Но этот — лежал. Мёртвый. Осязаемый. *Настоящий*.

Горелов протянул руку. Пальцы коснулись тельца. Оно было холодным. Хрупким. Как засохший лист. И под пальцами оно *крошилось*. Превращалось в пыль. В серую, нейтральную пыль, которая оседала на пол и исчезала.

— Лёш? — Костя стоял в дверях. — Ты чего там? Нашёл что-то?

Горелов убрал руку. Посмотрел на пальцы. Серая пыль. Ничего.

— Нет, — сказал он. — Ничего. Естественная смерть. Сердце, наверное. Вызывай судмедэксперта.

Костя кивнул, достал телефон, вышел в коридор. Горелов слышал, как он говорит: «Да, Ткачей, четырнадцать... Нет, криминала пока не видим... Да, ждём...»

А Горелов сидел на корточках у дивана и смотрел на мёртвую женщину. На её нейтральный окрас. На серо-чёрное пятно у плеча. На то место на полу, где только что лежал мёртвый белый.

И думал.

Думал о том, что за сорок два года жизни эта женщина не сделала ни одного выбора. Ни одного. Ни в сторону света, ни в сторону тьмы. Она была *никем*. Пустым местом. Зеркалом. Как он сам.

И думал о том, что мёртвый белый на полу — это не случайность. Это *улика*. Это значит, что кто-то или что-то *убило* её ангела. Не её саму — её *свет*. Вырвало, сломало, убило. И оставило тело жить. Жить без света. Без выбора. Без окраса.

И думал о том, что если кто-то может убить белого, — значит, кто-то может убить и чёрного. И значит, кто-то может сделать человека *нейтральным*. Насильно. Против его воли.

И думал о том, что его собственный окрас — нейтральный, ровный, серый, как в день рождения, — может быть не даром. Не особенностью. Не проклятием.

А *преступлением*.

Чьим-то. Над ним. Тридцать пять лет назад.

Он встал. Колени хрустнули. Спина заныла. Тридцать пять лет — не старость, но и не молодость. Тело уже начинало напоминать о себе. О том, что оно не вечное. Что оно *выбирает* стареть, даже если ты не выбираешь ничего другого.

Горелов обошёл квартиру. Медленно. Внимательно. Не как коп, который ищет следы взлома или признаки борьбы. Как человек, который ищет *цвет*. Окрас. Следы чужого присутствия.

На кухне — ничего. Чашка. Герань. Магнит-подсолнух. На подоконнике, в пыли, — отпечаток. Не пальца. *Крыла*. Маленького. Едва заметного. Как будто кто-то сидел здесь. Кто-то с крыльями. И сидел долго. Пыль вокруг отпечатка была disturbed, сдвинута, как будто крылья хлопали. Бились. *Боролись*.

В ванной — ничего. Зубная щётка. Полотенце. Зеркало, в котором Горелов увидел себя. Серый. Ровный. Нейтральный. И за плечами — никого. Ни белого. Ни чёрного. Ни одного мотылька. Ни одного паучка. Пусто. Как всегда.

В комнате, у дивана, он остановился снова. Посмотрел на тело. На окрас. На пятно.

И увидел ещё одну вещь.

На стене, за диваном, там, где тело закрывало обзор, была надпись. Не краской. Не мелом. *Царапина*. Кто-то — или что-то — процарапал на обоях, на штукатурке, на самом бетоне под ними, одно слово. Тонкими, ровными линиями. Как иглой. Как когтем.

«НЕЙТРАЛЬНАЯ».

Горелов смотрел на это слово. Долго. Не моргая. Не дыша.

А потом достал блокнот. Открыл на чистой странице. И написал:

«Ткачей, 14, кв. 6. Женщина. 62 года. Естественная смерть. НО:

1. Окрас — нейтральный. Не исчез после смерти. Не должен.

2. Мёртвый белый на полу. Не исчез. Не растворился. Лежал. Крошился.

3. Надпись на стене: "НЕЙТРАЛЬНАЯ". Не рукой. Когтем? Иглой?

4. Отпечаток крыла на подоконнике. Следы борьбы.

5. Пятно на окрасе. Серо-чёрное. У левого плеча. Как синяк.

Вопрос: кто убил её белого?

Вопрос: кто сделал её нейтральной?

Вопрос: почему я — нейтральный?

Вопрос: это связано?»

Он закрыл блокнот. Сунул в карман. Посмотрел на женщину в последний раз. На её спокойное лицо. На седые волосы. На халат в цветочек.

— Простите, — сказал он тихо. Не ей. Себе. За то, что не увидел раньше. За то, что тридцать пять лет смотрел в зеркало и не задавал правильного вопроса.

Из коридора донёсся голос Кости:

— Лёш, судмедэксперт будет через сорок минут. Пойдём, покурим?

Горелов вышел. Костя стоял у окна на лестничной клетке, уже дымя. Его окрас — янтарный, тёплый — мягко светился в полумраке подъезда. Белый мотылёк порхал у плеча. Чёрный паучок сидел на подоконнике, неподвижный, терпеливый.

— Держи, — Костя протянул сигарету.

Горелов взял. Прикурил. Затянулся. Дым заполнил лёгкие, и на секунду мир стал проще. Стал тем, чем был всегда: серым подъездом, холодной лестницей, напарником с сигаретой и мёртвой женщиной на третьем этаже.

— Кость, — сказал Горелов, выдыхая дым. — Ты когда-нибудь задумывался, почему люди такие, какие есть? Почему один — добрый, а другой — злой? Почему один прощает, а другой мстит?

Костя покосился на него. Усмехнулся.

— Ты это сейчас серьёзно? В семь утра? На лестнице у трупа?

— Серьёзно.

Костя затянулся. Подумал. Пожал плечами.

— Ну... Воспитание, наверное. Гены. Среда. Ты же не в вакууме растёшь. Родители, школа, улица. Кто-то тебя обидел в детстве — ты злой. Кто-то любил — ты добрый. Простая механика.

— А если никто не обижал? И никто не любил? Если просто... *никто*?

Костя посмотрел на него внимательнее. В его глазах мелькнуло что-то — не тревога, нет. Скорее любопытство. То самое, которое бывает, когда друг вдруг говорит что-то неожиданное.

— Лёш, ты в порядке?

— В порядке. Просто думаю.

— Думать вредно. От этого морщины. — Костя затушил сигарету о подоконник. — Пойдём. Судмедэксперт не любит, когда его ждут.

Он пошёл вниз по лестнице. Горелов — за ним. И пока спускался, смотрел на спину Кости. На его янтарный окрас. На белого мотылька, который порхал всё быстрее, как будто торопился куда-то. На чёрного паучка, который сидел неподвижно и *смотрел*.

Не на Костю.

На Горелова.

Горелов отвёл взгляд. Вышел из подъезда. Ноябрьский воздух ударил в лицо — холодный, влажный, пахнувший прелой листвой и чужим горем.

Он сел в машину. Костя завёл мотор. Машина тронулась.

И в зеркале заднего вида, на долю секунды, Горелов увидел: на заднем сиденье, в тени, сидит кто-то. Маленький. Полупрозрачный. С крыльями. Не белый. Не чёрный. *Серый*. Нейтральный. Как он сам.

Горелов моргнул. Посмотрел снова.

Никого.

Только серое небо за окном. И город. И дорога. И тридцать пять лет нейтрального окраса, которые вдруг перестали быть просто фактом.

И стали *делом*.

В участке его ждала Вера.

Она стояла у окна в лаборатории, спиной к двери, и что-то рассматривала под микроскопом. Волосы собраны в хвост, несколько прядей выбились у висков. Белый халат поверх тёмного свитера. Окра́с — медовый, мягкий, с золотыми прожилками. Вокруг неё кружили трое белых и один чёрный. Чёрный был маленький, сонный, почти прозрачный. Белые — активные, пушистые, деловитые. Вера была хорошим человеком. Светлым. Не святой. Не идеальной. Но *выбирающей*. Каждый день. Каждый час. В сторону света.

Горелов стоял в дверях и смотрел на неё. На её окра́с. На её мотыльков. И думал: а что, если он тоже мог бы? Что, если тридцать пять лет назад кто-то не дал ему *выбрать*? Кто-то убил его белых и чёрных, как убил белого той женщины на Ткачей? Кто-то сделал его *нейтральным*?

— Алексей? — Вера обернулась. Улыбнулась. — Вы чего в дверях стоите? Заходите.

— Вера, — сказал Горелов, входя. — Мне нужна ваша помощь. Не по протоколу.

Она сняла перчатки. Посмотрела на него. В её глазах — не удивление. Внимание. То самое, профессиональное, которое отличает хорошего криминалиста от просто человека в белом халате.

— Слушаю.

Горелов достал блокнот. Положил на стол. Открыл на странице с записями.

— Женщина на Ткачей. Сорок два года. Естественная смерть. Но есть... странности.

— Какие?

Он помедлил. Как сказать? Как объяснить то, что сам не до конца понимает? То, что звучит как бред? Как галлюцинация? Как признак того, что три часа сна в сутки наконец сделали своё дело?

— Её окрас, — сказал он. — Он... не исчез.

Вера молчала. Смотрела на него. Не перебивала. Не крутила пальцем у виска. Просто смотрела.

— И ещё, — продолжил Горелов. — На полу. У дивана. Лежал мёртвый белый. Мёртвый *ангел*, Вера. Он не растворился. Он лежал. Крошился под пальцами. Как засохший лист.

Тишина. Вера не моргала. Её медовый окрас чуть дрогнул — не потемнел, нет. Просто *дрогнул*. Как пламя на сквозняке.

— Вы видели это? — спросила она тихо.

— Да.

— И вы уверены, что это не...

— Галлюцинация? Кислородное голодание? Стресс? — Горелов усмехнулся. Горько. — Я вижу окрасы с семи лет, Вера. Я знаю, что реально, а что нет. Это было реально.

Вера помолчала. Потом подошла к шкафу, достала чистый блокнот. Села. Открыла. Взяла ручку.

— Рассказывайте, — сказала она. — Всё. С начала. Не пропускайте деталей. Даже если они кажутся неважными.

И Горелов рассказал. Про нейтральный окрас. Про пятно. Про надпись на стене. Про отпечаток крыла. Про серую пыль на пальцах. Про то, как крошился мёртвый белый. Про то, что его собственный окрас — серый, ровный, нейтральный — тридцать пять лет. Про то, что у него нет ни белых, ни чёрных. Ни одного. Про то, что он никогда никому об этом не говорил.

Вера записывала. Молча. Не перебивала. Не задавала вопросов. Только писала. И её окрас, медовый, тёплый, постепенно, едва заметно, *темнел* по краям. Не от страха. От *понимания*. От того, что она слышала то, что не должна была слышать. То, что меняло картину мира.

Когда Горелов закончил, Вера отложила ручку. Посмотрела на него. Долго. Внимательно.

— Алексей, — сказала она. — Вы знаете, что я вам верю?

— Знаю.

— И вы знаете, что это значит?

— Что?

— Что вы не сумасшедший. И что то, что вы видели, — реально. И что если кто-то может убить ангела, сделать человека нейтральным, оставить надпись когтем на стене, — значит, в этом городе есть кто-то или что-то, чего мы не знаем. Чего нет в протоколах. Чего нет в учебниках.

Она закрыла блокнот. Положила руку на обложку.

— И значит, нам нужно это найти.

Горелов кивнул. Посмотрел в окно. За стеклом — город. Серый. Ноябрьский. Полный людей с окрасами. С мотыльками и паучками. С выборами, которые они делают каждый день, не зная, что кто-то смотрит.

И где-то среди этих людей — тот, кто убивает ангелов. Тот, кто делает людей *ником*. Тот, кто тридцать пять лет назад, возможно, сделал *ником* его самого.

Горелов достал сигарету. Прикурил. Затаился.

— Начнём с женщины, — сказал он. — С её жизни. С её прошлого. С того, почему она была нейтральной. И с того, кто оставил надпись.

— А потом?

— А потом, — Горелов выдохнул дым, — я найду того, кто сделал это со мной.

Вера посмотрела на него. В её глазах — не жалость. Не страх. *Решимость*. Та самая, тихая, медовая, золотая решимость человека, который выбрал свет и не собирается менять выбор.

— Я с вами, — сказала она.

Горелов кивнул. Затушил сигарету. Встал.

И вышел из лаборатории. В коридор. В шум участка. В обычный, серый, ноябрьский день, который вдруг перестал быть обычным.

В кармане куртки лежал блокнот. В блокноте — пять вопросов. И один ответ, который Горелов пока не знал.

Но узнает.

Потому что он — коп. А коп без ответов — не коп.

И потому что тридцать пять лет нейтрального окраса — это не приговор.

Это *дело*.

И оно только что открылось.

Глава 2. Сомнение

Вера не спала.

Не потому, что не могла — могла. У неё была эта способность, выработанная годами работы в лаборатории: засыпать по команде, в любом положении, при любом шуме. На раскладушке в подсобке, среди микроскопов и банок с формалином. В машине, на заднем сиденье, пока Горелов вёл. На полу, подстелив куртку, если не было ничего другого. Тело засыпало. Мозг — нет.

Мозг лежал в темноте и *переваривал*.

То, что сказал Горелов. То, что она записала в блокнот. Пять пунктов. Пять невозможных, невысказанных, не укладывающихся ни в одну научную парадигму пунктов. Мёртвый белый. Нейтральный окрас у сорокадвухлетней женщины. Надпись, процарапанная когтем. Отпечаток крыла в пыли. Серая пыль, которая крошилась под пальцами.

Вера лежала на раскладушке в подсобке лаборатории, смотрела в потолок и думала: *а вдруг он сумасшедший?*

Мысль пришла не сразу. Сначала было другое. Сначала было то тёплое, почти материнское чувство, которое возникает, когда человек доверяет тебе то, чего не доверял никому. Горелов стоял перед ней, серый, усталый, с мешками под глазами и сигаретным запахом от куртки, и рассказывал. И она верила. Верила, потому что *чувствовала*. Не видела — нет. Вера не видела никаких окрасов, никаких ангелов, никаких мотыльков. Она видела только человека. Его лицо. Его руки. Его голос. То, как он держал плечи. То, как смотрел в глаза — прямо, не мигая, не отводя. То, как лежали его пальцы на столе — ровно, без дрожи. То, как звучал его голос — хриплый, усталый, но *ровный*. Без надрыва. Без истерики. Без того наигранного трагизма, который бывает у людей, пытающихся убедить.

Вера умела чувствовать людей. Не мистически. Не экстрасенсорно. Просто — *внимательно*. Двадцать лет работы с чужими смертями, с чужими тайнами, с чужой болью, запертой в пробирках и протоколах, научили её одному: человек *всегда* говорит телом. Голосом. Паузами. Тем, как он ставит чашку на стол. Тем, как он моргает. Тем, как он дышит. И Вера читала это. Не как детектор лжи — грубо, механически. А как музыкант читает партитуру. Тонко. Интуитивно. *Человечески*.

И вчера, глядя на Горелова, она *почувствовала*: он не лжёт. Не придумывает. Не играет. Он говорит то, что видит. То, во что верит каждой клеткой своего усталого, недосыпающего, тридцатипятилетнего тела.

Но *чувствовать* — не то же самое, что *знать*.

И в тишине подсобки, когда шум участка стих и остались только гудение холодильника с реагентами и тиканье старых часов на стене, — в этой тишине мысль вернулась. Тихо. Вежливо. Как соседка, которая зашла одолжить соль и осталась на три часа.

А вдруг он сумасшедший?

Не в клиническом смысле. Не в том, что его нужно везти в Кащенко и колоть галоперидол. В другом. В том, что три часа сна в сутки, хронический стресс, одиночество, тридцать пять лет жизни без близких людей, без семьи, без того, кто скажет: «Лёша, ты не прав, иди поешь», — всё это *накапливается*. Капля за каплей. Год за годом. И в какой-то момент чаша переполняется. И мозг, не в силах переварить реальность, *дорисовывает*. Создаёт систему. Стройную, логичную, внутренне непротиворечивую систему, в которой есть окрасы, ангелы, нейтральность и мёртвые мотыльки. Систему, которая объясняет всё. Которая делает хаос — упорядоченным. Бессмыслицу — осмысленной. Одиночество — *избранностью*.

Потому что если ты не сумасшедший, если ты действительно видишь то, чего не видят другие, — значит, ты *особенный*. Значит, твоё одиночество — не провал. Не следствие того, что ты неприятный, замкнутый, неудобный человек. А *цена дара*. Красивая, романтическая, почти библейская цена.

А если ты сумасшедший, — значит, ты просто больной. Уставший. Сломанный. И тебе нужна не Вера с блокнотом, а врач с таблетками.

И самое страшное: *сумасшедший тоже не лжёт*. Сумасшедший верит в свою правду так же твёрдо, как здоровый — в свою. Голос не дрожит. Руки не трясутся. Глаза смотрят прямо. Потому что для него это *реально*. Абсолютно. Полностью. И никакая интуиция, никакое «чутьё на людей», никакое двадцатилетнее умение читать тело и голос — не отличит правду здорового от правды больного.

Вера перевернулась на бок. Посмотрела на часы. Три четырнадцать. До утра ещё далеко.

Она встала. Подошла к столу. Включила лампу. Достала блокнот — тот, в котором записала рассказ Горелова. Открыла. Перечитала.

Пять пунктов.

Потом достала чистый лист. Написала сверху: *«Что можно проверить».*

Подумала. Написала:

1. Тело. Судмедэксперт. Есть ли на теле следы, несовместимые с естественной смертью? Царапины? Микротравмы? Следы инъекций?

2. Квартира. Надпись на стене. Если она процарапана «когтем» или «иглой», должен быть физический след. Борозда в штукатурке. Микрочастицы. Что-то.

3. Отпечаток крыла на подоконнике. Пыль. Если кто-то сидел, должен быть след. Не крыла — тела. Вес. Вмятина. Что-то.

4. Серая пыль. Горелов сказал, что она крошилась под пальцами. Если это материально, значит, можно собрать. Проанализировать. Найти состав.

5. Окрас. Нейтральный. Не исчез после смерти. Мёртвый ангел на полу. — НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ. Не существует инструмента для измерения. Не существует научного описания. Не существует НИ ОДНОГО подтверждения, кроме слов Горелова.

Вера отложила ручку. Посмотрела на список. Четыре пункта из пяти — проверяемы. Один — нет. И этот один — *фундамент*. Без него всё остальное — просто странности. Необъяснимые, но не невозможные. Царапина на стене — может, кошка. Отпечаток в пыли — может, сквозняк. Серая пыль — может, пепел, может, плесень.

А окрас. Нейтральный окрас у мёртвой женщины. Мёртвый ангел на полу.

Это не проверяется. Это *не существует*. Ни в одном микроскопе. Ни в одном спектрометре. Ни в одном протоколе.

Вера закрыла блокнот. Выключила лампу. Легла.

И не уснула.

Утро началось с судмедэксперта.

Звали его Аркадий Петрович. Шестьдесят лет, одышка, вечно расстёгнутый халат и привычка разговаривать с трупами, как с живыми. «Ну, милочка, что у нас тут? А? Опять сердце? А я тебе говорил, не надо было столько курить». Горелов его не любил. Не за одышку и не за разговоры с трупами. За то, что Аркадий Петрович видел только то, что можно потрогать, взвесить и положить в банку с формалином. Всё остальное для него не существовало.

Горелов ждал в коридоре. Курил у окна. Костя сидел рядом, листал телефон, изредка хмыкая. Его окрас — янтарный, тёплый — мягко светился в сером свете утра. Белый мотылёк порхал у плеча. Чёрный паучок сидел на колене Кости, неподвижный, как брошь.

— Ну? — Костя поднял голову. — Чего ждёшь?

— Заключение.

— По Ткачей? Там же естественная смерть. Сердце. Соседи сказали, она давно жаловалась.

— Соседи много чего говорят.

Костя пожал плечами. Вернулся к телефону. Горелов смотрел в окно. За стеклом — двор участка. Серый. Мокрый. Дворник в оранжевом жилете мёл листву. Его окрас был тёмно-серым, почти графитовым, с редкими светлыми искрами. Тяжёлая жизнь. Много тьмы. Но искры были. Значит, не всё потеряно. Значит, белый ещё шепчет. И дворник ещё слышит.

Дверь морга открылась. Аркадий Петрович вышел, снимая перчатки. Увидел Горелова. Кивнул.

— Ну, Горелов. Заходи. Поговорим.

Горелов вошёл. Тело женщины лежало на столе, накрытое простынёй. Аркадий Петрович откинул край. Лицо. Спокойное. Седые волосы. Закрытые глаза.

— Сердце, — сказал Аркадий Петрович. — Обширный инфаркт миокарда. Мгновенный. Она даже не поняла. Легла, закрыла глаза и всё. Никакой борьбы. Никаких следов насилия. Никаких инъекций. Никаких царапин.

— Царапин? — переспросил Горелов.

— Я проверил. Всё тело. Под ногтями, за ушами, на спине, на подошвах. Ничего. Чистая кожа. Ни единой отметины.

Горелов молчал. Смотрел на тело. На окрас. Нейтральный. Серый. Ровный. Висит над телом, как плёнка. Не исчезает. Аркадий Петрович не видит. Никто не видит. Кроме него.

— Аркадий Петрович, — сказал он. — А на стене в комнате. За диваном. Надпись. Вы видели?

Аркадий Петрович нахмурился. Пожевал губу.

— Надпись? Какую надпись?

— Слово. «Нейтральная». Процарапано на обоях. На штукатурке.

— Горелов, я осматривал место. Я был в квартире. За диваном — чистая стена. Обои. Старые, советские, в цветочек. Никаких надписей. Никаких царапин.

Горелов почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не удивление. Не страх. *Подтверждение*. То самое, холодное, трезвое подтверждение, которого он ждал. Которое знал. Которое *боялся*.

— А на подоконнике? В пыли? Отпечаток?

— Пыль есть. Отпечатков — нет. Ни пальцев, ни чего-либо ещё. Окно закрыто. Сквозняка не было. Пыль ровная.

— А на полу. У дивана. Серая пыль. Крошки. Что-то.

Аркадий Петрович посмотрел на него. Долго. Внимательно. Тем самым взглядом, которым смотрят на человека, говорящего очевидную чушь.

— Горелов. На полу — линолеум. Грязный, старый, в пятнах. Но никакой «серой пыли» я не видел. И криминалисты не видели. Они всё собрали, всё упаковали. Ничего необычного.

Тишина. Горелов стоял. Смотрел на тело. На окрас, который видел только он. На Аркадия Петровича, который не видел ничего.

— Спасибо, — сказал он. — Я понял.

— Горелов, — Аркадий Петрович замялся. Пожевал губу. — Ты... в порядке? Высыпаться?

— В порядке.

— Ну... Если что — есть психолог. В управлении. Бесплатно. Конфиденциально. Я не к тому, что... Просто. Ты выглядишь... уставшим.

Горелов кивнул. Вышел. Закрыл дверь.

В коридоре Костя поднял голову.

— Ну?

— Сердце. Естественная смерть. Ничего.

— А ты чего ждал?

Горелов не ответил. Прошёл мимо. Костя посмотрел ему вслед. Пожал плечами. Вернулся к телефону.

Вера ждала в лаборатории.

Она сидела за столом, перед микроскопом, и что-то рассматривала. Когда Горелов вошёл, она подняла голову. Улыбнулась. Но улыбка была другой. Не той, вчерашней. Не тёплой, не открытой. *Осторожной*. Как у человека, который не знает, что сказать, и выбирает слова, как сапёр выбирает, какой провод перерезать.

— Ну? — спросила она.

— Ничего. Аркадий Петрович не видел надписи. Не видел отпечатка. Не видел пыли.

Вера молчала. Её руки лежали на столе. Ровно. Спокойно. Но Горелов заметил: пальцы чуть сжаты. Костяшки побелели. Она *держалась*. За что-то. За край стола. За собственное спокойствие. За ту тонкую нить, которая отделяет «я верю» от «я не знаю, что думать».

— Вера, — сказал Горелов. Он сел напротив. Положил руки на стол. Посмотрел ей в глаза. — Вы думаете, что я сумасшедший.

Она не отвела взгляд. Не стала отрицать. Не стала говорить: «Нет, что вы, Алексей, я вам верю». Она просто смотрела. Долго. Внимательно. Тем самым взглядом, которым смотрела на всех: на подозреваемых, на свидетелей, на коллег. Вглядывалась. *Читала*. Не окрас — она его не видела, не могла видеть, никогда не увидит. А *человека*. Его лицо. Его руки. Его дыхание. То, как он сидит. Как держит плечи. Как моргает.

И в её глазах было то, что Горелов видел у многих. У Кости, когда тот думал, что Горелов не замечает. У Маркова, когда тот вызывал его «на разговор» после очередного рапорта. У врачей, когда он лежал в больнице после цеха.

Жалость. Смешанная с *осторожностью*. Как смотрят на человека, который может быть опасен. Не для других. Для себя.

— Я не знаю, что думать, Алексей, — сказала Вера наконец. Голос тихий. Ровный. Честный. — Я хочу вам верить. Я *верила* вам вчера. Когда вы рассказывали. Когда ваши глаза были... такими. Уверенными. Твёрдыми. Я чувствовала, что вы не лжёте. Я *чувствую* людей, Алексей. Двадцать лет. Я знаю, когда человек врёт. По голосу. По рукам. По тому, как он дышит. И вчера вы не врали. Я это *знаю*. Так же, как знаю, что солнце встаёт на востоке.

— Но?

— Но *чувствовать*, что человек не лжёт, и *знать*, что то, что он говорит, — правда, — это разные вещи. — Она провела ладонью по столу. — Я чувствую, что вы верите в то, что говорите. Абсолютно. Полностью. Каждой клеткой. Но я не чувствую, что это *реально*. Потому что реальность — не в голосе. Не в глазах. Не в том, как вы держите плечи. Реальность — в микроскопе. В протоколе. В вещдоке. В том, что можно *потрогать*.

Горелов молчал. Слушал. Не перебивал. Не спорил. Не говорил: «Но я видел! Я *знаю*!» Он просто слушал. Потому что она была права. С её точки зрения. С точки зрения науки. С точки зрения любого нормального человека, который не видит окрасов и не знает, что белые и чёрные существуют.

— Алексей, — продолжала Вера. — Я не говорю, что вы лжёте. Я не говорю, что вы сумасшедший. Я говорю, что... — она запнулась. Подобрала слово. — Что я не могу *подтвердить*. А без подтверждения я не могу *верить*. Не как учёный. Не как криминалист. Я могу верить как *человек*. Могу *чувствовать*, что вы говорите правду. Но чувство — не доказательство. Интуиция — не протокол. Я не могу положить свою интуицию в папку с делом и отправить в суд.

— Я понимаю.

— Понимаете?

— Да. Вы правы. У вас нет причин верить. У вас нет улик. Нет вещдоков. Нет ничего, кроме слов усталого копа, который спит три часа в сутки и видит то, чего не видит никто. И ваша интуиция — это всё, что у вас есть. А интуиция может ошибаться. Даже самая лучшая.

Вера помолчала. Её пальцы разжались. Костяшки порозовели. Она откинулась на спинку стула. Посмотрела в потолок. Потом снова на него.

— Знаете, что самое страшное? — сказала она. — Не то, что вы можете быть сумасшедшим. А то, что я *не могу отличить*. Я смотрю на вас. Я *чувствую* вас. И я не знаю: это правда здорового человека или правда больного? Голос ровный. Руки не дрожат. Глаза прямые. Всё — как у человека, который говорит правду. Но так же выглядит и человек, который

верит в свой бред. Абсолютно. Полностью. Без тени сомнения. И моя интуиция говорит: «Он не лжёт». А разум говорит: «А вдруг он не лжёт, потому что для него это *реально*?»

Горелов смотрел на неё. И понимал. Понимал, что она не может иначе. Что она *не должна* иначе. Что её сомнение — не предательство. Не слабость. А *честность*. Честность человека, который не может закрыть глаза и сделать вид, что видит то, чего не видит. Который не может подменить доказательство — чувством. Протокол — интуицией. Реальность — верой.

— Мне жаль, — сказала Вера.

— Не нужно.

— Нужно. Потому что я *хочу* верить. Но не могу. И это... — она провела рукой по волосам. — Это делает меня плохим человеком?

— Нет. Это делает вас *честным* человеком.

Тишина. Вера смотрела на него. Горелов смотрел на неё. Между ними, на столе, лежал блокнот. Вчерашний. С пятью пунктами. С тем, что было правдой для одного и бредом для другой.

— Что вы будете делать? — спросила Вера.

— Работать.

— Как?

— Как умею. Поеду на Ткачей. Поговорю с соседями. Подниму документы. Узнаю, кто она была. Как жила. Почему была *нейтральной*. Даже если никто, кроме меня, этого не видит.

— А если... — Вера запнулась. — А если вы приедете туда и снова увидите то, чего нет?

Горелов посмотрел на неё. Долго. Внимательно. И в его серых глазах было что-то, чего Вера не видела раньше. Не злость. Не обиду. *Усталость*. Глубокую, костную, тридцатипяти-летнюю усталость человека, который видит мир не таким, как все, и не может это доказать. Который не может даже *показать*. Который обречён быть единственным свидетелем в деле, где нет вещдоков. Где нет протокола. Где нет ничего, кроме его глаз и его блокнота.

— Тогда я запишу, — сказал он. — В блокнот. И буду записывать дальше. Каждый день. Каждое видение. Каждую деталь. Пока не найду того, кто это делает. И пока не докажу. Не вам. Не Аркадию Петровичу. Не Косте. *Себе*. Что я не сумасшедший.

Он встал. Взял куртку. Направился к двери.

— Алексей, — окликнула Вера.

Он обернулся.

— Я... — она сглотнула. — Я не хочу, чтобы вы были сумасшедшим. Понимаете? Я *не хочу*. Я чувствую, что вы нормальный. Что вы здоровый. Что то, что вы видите, — реально. Я *чувствую* это. Но я не могу *знать*. И это... это хуже, чем если бы вы были сумасшедшим. Потому что если вы сумасшедший, я могу вам помочь. Отвести к врачу. Дать таблетки. И всё закончится. А если вы *не* сумасшедший, если то, что вы видите, *есть*, — значит, в мире есть что-то, чего я не понимаю. Чего не могу измерить. Чего не могу положить под микроскоп. И это... — она замолчала. Покачала головой. — Это пугает.

Горелов кивнул. Медленно. Без обиды. Без упрёка.

— Я знаю, — сказал он. — И я не прошу вас бояться. Я прошу только одного.

— Чего?

— Не закрывайте дверь. Если я приду и скажу: «Вера, я нашёл ещё одно». Не закрывайте дверь. Не говорите: «Алексей, вам нужно отдохнуть». Не смотрите на меня *так*. — Он кивнул в сторону её лица. — Так, как сейчас. Как на больного. Как на того, кому нужна помощь. Просто... выслушайте. И запишите. Даже если не верите. Даже если чувствуете, что это бред. Запишите. Потому что однажды, может быть, вам понадобится эта запись. И вы будете рады, что не выбросили.

Вера молчала. Долго. Её руки лежали на столе. Ровно. Спокойно. Но Горелов видел — по тому, как она дышала, по тому, как чуть подрагивали ресницы, по тому, как она сглотнула, прежде чем ответить, — что ей *трудно*. Что она борется. Между чувством и разумом. Между интуицией, которая говорит «он прав», и логикой, которая говорит «докажи».

— Хорошо, — сказала она наконец. Тихо. Почти шёпотом. — Я не закрою дверь. Записывайте. Приходите. Рассказывайте. Я буду слушать. И записывать. Но, Алексей... — она подняла на него глаза. — Я не обещаю, что поверю. Я обещаю только, что *выслушаю*. Это всё, что я могу.

— Этого достаточно.

Он вышел. Дверь закрылась.

Вера осталась одна. Сидела. Смотрела на блокнот. На пять пунктов. На слово *«нейтральная»*, написанное её собственным почерком.

Она открыла ящик стола. Достала чистый лист. Написала сверху: *«Дело Ткачей, 14. Записи со слов Горелова А.В. Не подтверждено. Не опровергнуто. Статус: открыто».*

Подумала. Дописала: *«Примечание: источник информации вызывает доверие на интуитивном уровне. Однако объективных подтверждений нет. Требуется дополнительная проверка. При отсутствии подтверждений в течение 72 часов — рекомендовать источнику консультацию специалиста».*

Она посмотрела на последнюю строчку. Долго. Потом зачеркнула. Написала взамен: *«При отсутствии подтверждений — не закрывать. Ждать».*

Закрыла блокнот. Убрала в ящик. Заперла на ключ.

И вернулась к микроскопу. К тому, что можно увидеть. Потрогать. Измерить. Доказать.

К тому, что *существует*.

Но руки, когда она настраивала фокус, чуть дрожали.

Горелов ехал на Ткачей.

Один. Без Кости. Костя остался в участке — у него было своё дело, своя рутина, свой янтарный окрас и свой спящий паучок. Горелов не обиделся. Не попросил поехать. Не сказал: «Кость, мне нужен кто-то, кто поверит». Потому что знал: Костя не поверит. Костя — хороший человек. Честный. Простой. Для него мир — это то, что видно. То, что можно потрогать. Протокол. Рапорт. Подпись. Всё остальное — «Лёш, ты опять не спал? Иди домой. Выспись. Завтра полегчает».

Горелов не обижался. Он *понимал*. Понимал, что быть единственным, кто видит, — это не дар. Это *одинокчество*. Абсолютное. Полное. Такое, от которого не спасает ни Костя, ни Вера, ни Марков. Такое, от которого спасает только работа. Только дело. Только блокнот, в который ты записываешь то, чего нет, и ждёшь, что однажды оно *станет*.

Машина катила по серым улицам. Ноябрь. Дождь. Дворники. Окрасы. Мотыльки. Паучки. Город жил. Выбирал. Менялся. Медленно. Капля за каплей. Год за годом.

А Горелов ехал сквозь него. Серый. Нейтральный. Невидимый.

Дом четырнадцать по улице Ткачей встретил его тишиной.

Полицейская лента на двери квартиры шесть уже висела криво, на одном гвозде. Соседи, видимо, заходили, выходили, трогали. Горелов отогнул ленту. Вошёл.

Квартира была такой же. Чашка. Герань. Магнит-подсолнух. Диван, с которого убрали тело, но остались вмятина и запах. Линолеум. Обои в цветочек.

Горелов прошёл в комнату. Подошёл к дивану. Посмотрел на стену. За диваном.

Обои. Старые. Советские. В цветочек. Чистые. Ровные. Без надписей. Без царапин. Без следов когтя или иглы.

Он присел. Провёл пальцами по стене. Гладко. Сухо. Ничего.

Потом встал. Подошёл к подоконнику. Посмотрел на пыль. Ровная. Серая. Обычная. Без отпечатков. Без следов крыльев. Без вмятин.

Потом посмотрел на пол. Линолеум. Грязный. В пятнах. Без серой пыли. Без крошек. Без следов мёртвого мотылька.

Горелов стоял посреди комнаты. Один. В тишине. В запахе чужой смерти. И смотрел на мир, который *не подтверждал* его. Который говорил: «Ты видел то, чего нет. Ты придумал. Ты устал. Ты болен. Иди домой. Выспись. Завтра полегчает».

Он достал блокнот. Открыл. Посмотрел на вчерашние записи. Пять пунктов. Пять вещей, которых не существует.

И написал шестой:

«6. Ничего не подтвердилось. Надписи нет. Отпечатка нет. Пыли нет. Тело чистое. Аркадий Петрович не видел. Вера сомневается. Костя не знает.

Вариант А: я сумасшедший. Галлюцинации. Стресс. Недосып. Тридцать пять лет одиночества сделали своё дело. Мозг дорисовал. Создал систему. Объяснил необъяснимое.

Вариант Б: я не сумасшедший. Я вижу то, чего не видят другие. И то, что я вижу, — реально. Но не оставляет следов в материальном мире. Не фиксируется. Не подтверждается. Существует только для меня.

Вопрос: как отличить А от Б?

Вопрос: если Б — правда, зачем мне это дано?

Вопрос: если А — правда, зачем я это записываю?>

Он закрыл блокнот. Сунул в карман. Посмотрел на комнату в последний раз.

И увидел.

На подоконнике. В пыли. Там, где только что было *ничего*. Там, где он сам, своими глазами, видел ровную, нетронутую пыль.

Отпечаток.

Маленький. Едва заметный. Как будто кто-то только что сидел здесь. Кто-то с крыльями. Кто-то *лёгкий*. Кто-то, кто не оставляет следов в материальном мире. Но оставляет — в *его* мире. В мире, который существует только для него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.